

Габриэль
Гарсиа Маркес



Нобелевская
премия

Палая листва

[повесть]



Габриэль Гарсиа Маркес

Палая листва

«АСТ»

1955

Маркес Г.

Палая листва / Г. Маркес — «АСТ», 1955

ISBN 978-5-271-39088-3

Первая история Габриэля Гарсиа Маркеса о городке Макондо. Первое произведение, в котором появляется культовый герой писателя – полковник Аурелиано Буэндиа. Одиночество, долг, любовь, мужество, дружба, страсть и смерть – главные темы творчества Маркеса. Именно они стали ключевыми и в повести «Палая листва». Двадцать пять лет жизни Макондо проходят перед читателем в воспоминаниях Аурелиано, его дочери и внука. Двадцать пять лет жизни, полной событий – поразительных, драматичных или, наоборот, забавных...

ISBN 978-5-271-39088-3

© Маркес Г., 1955

© АСТ, 1955

Содержание

1	6
2	14
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Габриэль Гарсиа Маркес

Палая листва

Что касается трупа Полиника, умершего жалкой смертью, то, говорят, будто был издан указ, согласно коему никто из жителей города не должен был ни хоронить его, ни оплакивать, но оставить без погребения и бросить на съедение хищным птицам. Еще говорят, что добрый Креонт велел огласить этот указ ради тебя и меня, то есть ради меня; и что он явится сюда, чтобы лично огласить указ перед теми, кто о нем не знает; и что похоронам не бывать, а всякого, кто посмеет нарушить запрет, народ побьет камнями.

Из «Антигоны»

Словно смерч внезапно взвился посреди селения, нахлынула банановая компания, принося палую листву. Взбаламученная, неудержимая листва являла собой ошметки гражданской войны, казавшейся по прошествии лет все менее правдоподобной.

Эта палая листва разила смрадом толпы, зловонием кожных выделений и обреченностью. Менее чем за год она завалила селение свалкой неисчислимых бедствий, наводнила улицы хламом. И этот хлам порывами ураганного ветра молниеносно сбивался в кучи, обособлялся и в конце концов обратился в улочку, одним концом выходящую на реку, другим упирающуюся в ограду кладбища, в поселок, сложившийся из отбросов других селений.

В могучей заверти урагана образовались подобия бакалейных лавок, больниц, значных мест, электростанций; людские ошметки, что привезли с собой из поклажи разве что деревянный сундук или баул с бельем, наматывали поводья мула на коновязь гостиницы, а через несколько месяцев уже имели собственный дом, пару наложниц и воинское звание, которое им задолжало государство, так как они слишком поздно вступили в войну.

Занесло к нам из больших городов и отребья продажной любви, обосновавшиеся в утлых лачугах; поначалу это был закоулок, где полкровати служило жалким приютом на час или на ночь, затем шумная улица притонов и затем целое селение терпимости – внутри селения.

В этой круговерти, этом потоке незнакомых лиц, палаток вдоль дороги, мужчин, передевавшихся на виду, женщин, восседавших под зонтиками на сундуках, и мулов, оставленных в конюшне гостиницы и подыхавших там с голоду, мы, первые поселенцы, стали последними, стали чужими.

Прибыв в Макондо после войны и по достоинству оценив тучность земель, мы предчувствовали, что настанет день и ураган принесет сюда палую листву, но не догадывались о его мощи. И поэтому в преддверии наступающей лавины могли лишь выставить миску с вилок и ножом за порог и покорно уповать на судьбу. Когда раздался гудок поезда, палая листва взметнулась было ему навстречу, но тут же обессилела, отяжелела, слиплась; и начался естественный процесс гниения и разложения в земле.

Макондо, 1909

1

Впервые в жизни я увидел мертвеца. Сегодня среда, но мне кажется, что воскресенье, потому что в школу я не пошел и одет в зеленый вельветовый костюм, который кое-где мне жмет. Держу маму за руку, вслед за дедушкой, шарящим перед собой тростью, прежде чем сделать шаг, чтобы на что-нибудь не наткнуться (он плохо видит в полутьме и хромает), я прошел мимо зеркала в гостиной и увидел себя в полный рост – в зеленом, с белым накрахмаленным бантом, врезавшимся мне в шею. «Выгляжу так, будто сегодня воскресенье», – подумал, увидев себя в мутном продолговатом зеркале.

Мы пришли в дом, где лежал покойник. В закупоренной комнате была слышна гудящая под солнцем улица и больше – ни звука. Воздух был настолько затхл и туг, что казалось, его можно гнуть, как металлическую пластину. В спальне, где лежит мертвец, пахнет чемоданами, но их не видно, и свалкой. На одном кольце в углу висит гамак. Мне приходит в голову мысль, что запах этот источают ветхие полуистлевшие вещи, выглядящие, как на свалке, но на самом деле у них другой запах. Прежде я думал, что мертвецы непременно должны быть в шляпах. Но теперь вижу, что это не так. Я вижу, что у него седая голова и подвязана платком челюсть. Что рот приоткрыт и меж лиловых губ виднеются неровные, покрытые налетом зубы. Язык, распухший, темнее лица, так же, как и перетянутые веревкой пальцы, сбоку прикушен. Глаза раскрыты намного шире, чем у живого человека, они вытаращены и тусклы, а кожа лица похожа на утоптанную влажную землю. Я думал, что покойник похож на мирно спящего человека, но вижу, что наоборот: казалось, он не спит, но приходит в себя после жестокой драки.

Мама тоже оделась так, будто было воскресенье. Она надела старую соломенную шляпу, прикрывающую уши, и наглухо застегнутое, с рукавами до самых запястий платье. Почему-то оттого, что сегодня среда, она мне кажется незнакомкой, и когда дедушка встает навстречу мужчинам, вносящим в комнату гроб, мне кажется, что мама хочет мне что-то сказать. Она сидит рядом со мной, спиной к закрытому окну. Она тяжело дышит и все время поправляет пряди волос, выбивающиеся из-под шляпы, надетой впопыхах. Дедушка велел мужчинам поставить гроб рядом с кроватью. Лишь после этого я понял, что мертвец в него поместится. Когда гроб внесли, мне показалось, что он слишком короткий для тела, вытянутого во всю длину кровати.

Я не знаю, зачем меня привели. Я никогда не бывал в этом доме и думал, что в нем никто не живет. Это большой дом на углу, двери которого, насколько я помню, никогда не открывались. Я был уверен, что он пустует. Только сегодня, когда мама мне сказала: «После полудня ты не пойдешь в школу», – но это меня не обрадовало, потому что сказала она это строго и сухо, а потом вышла и вернулась с моим вельветовым костюмом, молча меня одела, и мы вышли за дедушкой на улицу и прошли три дома, что отделяют наш дом от этого, – только тогда я понял, что на углу все-таки кто-то жил. Тот, кто умер; значит, тот человек, которого имела в виду мама, когда говорила мне: «На похоронах доктора ты должен вести себя прилично».

Поначалу, войдя в дом, я не увидел покойника. Я увидел дедушку, стоящего у дверей и разговаривающего с какими-то людьми. Он знаком велел нам проходить дальше. Я решил тогда, что в комнате кто-то есть, но когда вошел, почувствовал пустую темноту. В лицо мне бросился жаркий воздух, пронизанный зловонием отбросов. Сперва он был густой и не отступал, а теперь накатывает волнами. Взяв за руку, мама провела меня по комнате и усадила рядом с собой в углу. Не тотчас мои глаза привыкли к темноте. Я увидел дедушку, пытающегося открыть окно, которое будто вросло в проем, и он колотил по задвижкам тростью. При этом взмывала пыль и оседала на его пиджак. Когда он сказал, что окно не поддается, я повернул голову в сторону дедушки и тут только заметил, что на кровати кто-то лежит. Это был муж-

чина: темный, вытянувшийся, недвижимый. Я повернулся к маме, но она, по-прежнему чужая, отстраненная, смотрела в другую сторону. Поскольку мои ноги на пядь не достают до пола, я, сунув руки под ляжки, упершись ладонями в сиденье, стал болтать ногами, ни о чем не думая, пока не вспомнил слова мамы: «На похоронах доктора ты должен вести себя прилично». По спине у меня пробежал холодок, я обернулся, но не увидел ничего, кроме деревянной стены, сухой и растрескавшейся. И будто кто-то из стены сказал:

– Не болтай ногами, человек, который лежит на кровати, и есть доктор, и он умер.

И, посмотрев на кровать, я разглядел его. Я увидел, что этот человек не просто лежит, он мертвый.

И с той минуты, как я ни стараюсь не смотреть на него, меня словно держит кто-то за голову и не дает отвернуться, и, хотя я отвожу взгляд, мне всюду в темноте видятся его вытаращенные глаза и зеленовато-землистое лицо.

Я не знаю, почему никто не пришел на похороны. Пришли только мы с дедушкой, мама и четверо индейцев-гуахино, которые работают у дедушки. Работники принесли сумку с известью и опрокинули ее в гроб. Если бы мама не была такой странной и рассеянной, я бы спросил у нее, зачем они это делают. Я не понимаю, для чего высыпать известь в гроб. Когда сумка опорожнилась, один из мужчин встряхнул ее над гробом, из нее высыпались последние крошки, скорее похожие на опилки, чем на известь. Индейцы подняли мертвеца за плечи и за ноги. На нем обычные брюки с широким черным ремнем и серая рубашка. Ботинок только на левой ноге. Как говорит Ада, одна нога – королева, другая – рабыня. Правый ботинок лежит на краю кровати. Казалось, мертвецу что-то на кровати мешало, и теперь в гробу вольготнее и спокойнее, и его лицо, до этого выглядевшее как после драки, обрело безмятежность и уверенность. Абрис смягчился, будто в гробу наконец-то он почувствовал себя человеком на своем месте.

Дедушка вышагивал по комнате. Он собрал какие-то вещи и положил их в гроб. Я посмотрел на маму, надеясь, что она мне объяснит, зачем дедушка это делает. Но мама, вся в черном, все так же непроницаема и не смотрит в ту сторону, где лежит мертвец. Я тоже не хочу туда смотреть, но не могу. Я смотрю и смотрю, я изучаю его. Дедушка кладет в гроб книгу, подает знак индейцам, и трое из них закрывают гроб крышкой. И только теперь я чувствую, что руки, державшие мою голову повернутой в сторону покойника, меня отпускают, и начинаю рассматривать комнату.

Поворачиваюсь к маме. Впервые с тех пор, как мы пришли в дом, она смотрит на меня и улыбается, но улыбка ее безучастна, ничего не выражает. Вдалеке я слышу гудок поезда, уходящего за поворот. В углу, где стоит гроб, я замечаю какое-то шевеление. Индеец приподнимает крышку, и дедушка просовывает в гроб забытый на кровати ботинок покойника. Снова гудит поезд, уже дальше, и я вдруг понимаю: «Полтретьего». В это время (когда поезд гудит, огибая селение) ребята становятся парами, чтобы идти на первый послеобеденный урок.

«Авраам», – думаю я.

* * *

Я не должна была приводить сюда ребенка. Это действие не для него. Даже я, а мне скоро тридцать, с трудом переношу эту мертвецкую атмосферу. Еще не поздно встать и уйти. Сказать отцу, что нам стало плохо в комнате, за семнадцать лет пропитавшейся человеком, ни к кому не испытывавшему ни малейшей сердечности или признательности. Должно быть, лишь мой отец ему симпатизировал. Что необъяснимо, но благодаря чему он не сгниет теперь в своих четырех стенах. Меня не оставляет ощущение нелепости происходящего. Беспокоит то, что через минуту мы выйдем на улицу вслед за гробом, при виде которого все почувствуют долгожданное удовлетворение. Я представляю лица женщин, наблюдающих из окон, как идем мы, отец, я с ребенком, за погребальным ящиком, где уже разлагается тот, коему все селение этого желало и отказалось даже проводить в последний путь, идем лишь мы, проявляя элемен-

тарную человечность, которая, впрочем, обернется для нас самих позором. Быть может, из-за этой отцовской манеры поступать вопреки завтра и нас будет некому проводить на кладбище.

Скорее всего поэтому я и взяла с собой ребенка. Моей первой мыслью было, когда папа сказал: «Ты должна пойти со мной», взять ребенка, чтобы не чувствовать себя совсем беззащитной. И вот мы сидим здесь душным сентябрьским вечером, чувствуя себя окруженными неприятельской атмосферой. Отцу нечего беспокоиться. В общем-то он всю жизнь так и живет – плевать ему на то, что о нем думают и говорят, главное – поступать так, как сам считает должным. Быть может, еще четверть века назад, когда этот человек впервые пришел в наш дом, отец, поговорив с ним, предчувствовал, что настанет день и час и никто в селении не пожелает даже швырнуть его труп стервятникам. Быть может, отец уже тогда предвидел все возможные нелепости и беды. И теперь, двадцать пять лет спустя, он, очевидно, всего лишь завершает задуманное и явно доведет все до конца, чего бы ему это ни стоило, пусть даже пришлось бы собственноручно тащить мертвеца по улицам Макондо.

И все же, когда час пробил, ему не хватило духа совершить все самому, он принудил и меня вместе с собой исполнять это невыносимое обязательство, которое, не сомневаюсь, взял на себя задолго до того, как я начала что-либо осознавать. Когда он сказал: «Ты должна пойти со мной», я не сразу вникла в смысл его слов, не тотчас поняла, насколько это тягостно и постыдно – хоронить того, который должен был, согласно общему желанию, стгнуть в собственной дыре. На это не просто надеялись, к этому с чистым сердцем и открытой душой готовились, предвкушая, как в один прекрасный день ветерок потянет по селению благоухание его разлагающегося трупа, и никого это не покоробит, не расстроит, напротив, все обрадуются, что настал долгожданный час, и пожелают лишь, чтобы кислотный смрад мертвечины не выветривался как можно дольше, до тех пор, пока не утолят жажду даже самые сокровенные тайники их человеческой нелюбви.

И вот мы лишили Макондо вождя удовольствия. Правда, мне кажется, что в определенном смысле наш поступок не то чтобы разочарует людей, но вселит в сердца ощущение всего лишь отсрочки.

Еще и поэтому мне следовало бы оставить ребенка дома – дабы не навлекать и на него эту нелюбовь к доктору, скапливавшуюся десять лет и отражающуюся на нас. Не надо было ребенка вмешивать в это дело. Он не понимает, зачем его привели в эту затхлую комнату, в эту темную мертвецкую. Сидит, упершись в стул ладонками, болтает ногами и ждет, что ему помогут разгадать загадку, объяснят, что происходит и зачем здесь он. Но мне бы хотелось верить, что никто не посмеет отворить невидимую дверь, отделяющую от реальности его детские представления о мире. Он то и дело вопросительно поглядывает на меня, и я понимаю, что кажусь ему черствой и чужой в платье с глухим воротом и в старомодной шляпе, которую надела, чтобы заслониться хотя бы от собственных недобрых предчувствий.

Если бы была жива Меме и находилась здесь, в этом доме, было бы совсем другое дело. Решили бы, что я пришла разделить с ней горе. Понятно, что на самом деле бы она не горевала, но могла бы сыграть, и Макондо охотно бы ей поверило. Меме пропала почти одиннадцать лет назад. И со смертью доктора умерла надежда узнать, где она – или по крайней мере где зарыты ее кости. Меме нет, но, будь она здесь – если бы не произошло то, что произошло и уже навсегда останется тайной, – она, я думаю, была бы заодно с соседями, а не с человеком, который шесть лет делил с ней постель, проявляя не больше душевности и тепла, чем какой-нибудь мул.

Я слышу гудок поезда на повороте. «Половина третьего», – думаю я и не могу отделаться от мысли, что весь Макондо сейчас только и думает о том, что мы делаем в доме доктора. Представляю, как сеньора Ребека, тощая и высохшая, как пергамент, всем своим обликом похожая на домашнее привидение, сидит у электрического вентилятора и лицо ее изрешечено тенью от проволочной оконной сетки. Слыша гудок удаляющегося поезда, она, терзаемая духотой и

досадой, склоняет голову к вентилятору, лопасти которого вертятся, как ее сердце, только в обратную сторону. Дряхлая, трясущаяся, связанная еще с жизнью лишь еле заметными корнями повседневности, она шепелявит:

– Все это дьявольские проделки.

А парализованная Агеда наблюдает за тем, как, проводив жениха, возвращается со станции Солита, огибает безлюдный угол, раскрывает зонтик, с трудом удерживая в себе ликование только что сполна ублаженной плоти, когда-то знакомое и Агеде, но забытое, обратившееся в тяжкую сакральную хворь, принуждающую лишь ворчать:

– Все бы тебе куваться в постели, как в навозе свинья.

Не могу отделаться от этой мысли. Заставить себя не думать о том, что сейчас половина третьего, что шагает почтовый мул, окутанный горячей пылью, следом идут двое мужчин, прервавших в эту среду сиесту, чтобы поскорее получить свежие газеты. Падре Анхель спит, сидя в ризнице, с открытым на толстом животе требником, и, слыша топот мула, отгоняя досаждающих мух, рыгая, бормочет:

– Какая гадость эти твои фрикадельки.

Папа кажется невозмутимым. До такой степени, что велит открыть гроб и положить туда забытый на кровати башмак. Только он мог проявлять хоть какой-то интерес к этому ничемному человеку. Неудивительно будет, если сразу за порогом нас окатят дерьмом за нашу особость. Хотя, возможно, из уважения к отцу и не посмеют. Но могут и обдать, потому что уж слишком это самонадеянно – лишать людей наслаждения, которого много жарких дней и ночей мужчины и женщины вождели, проходя мимо этого дома, твердя про себя: «Поздно или рано, но мы ущемимся этим запахом». Вождели и твердили во всех домах, от первого до последнего.

Скоро три. Сеньорита это уже знает. Сеньора Ребека увидела ее, проходящую мимо, окликнула, невидимая за проволочной сеткой, и, на мгновение выйдя из-под вентилятора, сказала:

– Сеньорита, это дьявол, вы же понимаете.

Завтра в школу пойдет не мой, а другой ребенок. Он вырастет, у него будут свои дети, и, наконец, умрет, но никто никогда не свяжется с ним тем долгом благодарности, который стал бы залогом его христианского погребения.

Я бы сидела сейчас спокойно дома, если бы двадцать пять лет тому назад неведомо откуда не явился этот человек с каким-то рекомендательным письмом и не остался у нас, чтобы питаться травой и пожирать женщин жадными собачьими глазами, теперь вылезшими из орбит. Мне на роду написана была эта напасть, но таилась под спудом до этого нещадного высокосного года, покуда мне не исполнилось тридцать и отец не сказал:

– Ты должна пойти со мной. – И прежде чем я успела сказать хоть слово, грохнул палкой по столу: – Иначе нельзя, дочь. Доктор на рассвете повесился.

Индейцы гуськом вышли из комнаты и воротились с молотком и коробкой гвоздей. Но гроб заколачивать не стали, положили коробку на стол и расселись на кровати, где лежал мертвец. Дедушка спокоен, но не как покойник в гробу, а как живой человек, с трудом сдерживающий нетерпение. Обычного его внешнего безразличия явно не хватает. Он кружит по комнате, хромая, и без нужды перекладывает с места на место разбросанные вещи. Заметив в комнате мух, я думаю о том, что они проникли и в гроб. Крышку еще не заколотили, но мне чудится, что жужжание, которое я поначалу принял за шум электрического вентилятора по соседству, исходит от скопища мух, вслепую бьющихся о стенки гроба изнутри и о лицо покойника. Я трясу головой и зажмуриваюсь. Дедушка открывает чемодан, достает оттуда какие-то вещи, но я не могу разглядеть, что именно. На кровати мерцают четыре огонька, но лиц курящих не

видно. Изнуренный духотой, мгновением, которое никак не закончится, и жужжанием мух, я будто слышу, как кто-то мне говорит:

– И ты будешь лежать в гробу, полном мух. Тебе едва исполнилось одиннадцать, но придет день, и тебя оставят наедине с мухами в закрытом гробу.

Я вытягиваю ноги вместе и вижу свои черные блестящие ботинки. «У меня шнурок развязался», – думаю я и оборачиваюсь к маме. Она смотрит на меня и нагибается, чтобы завязать шнурок.

От маминой головы веет жарким тяжелым духом старого шкафа, запахом прелого дерева, вновь напоминающим мне о замкнутом чреве гроба. У меня спирает дыхание, мне хочется выйти, чтобы вдохнуть жаркий воздух улицы, и я прибегаю к своему крайнему средству. Когда мама выпрямляется, я шепчу ей:

– Мама!

– Да? – отвечает она с заметной лишь мне улыбкой.

Наклонившись к ней, к ее лоснящемуся от пота, цвета сырого мяса лицу и, дрожа, шепчу:

– Мне нужно на двор.

Мама окликает дедушку, что-то ему говорит. Я вижу его сощуренные неподвижные глаза за стеклами очков, когда он наклоняется ко мне и тихо говорит: «Ты же знаешь, что сейчас нельзя». Я выпрямляюсь и больше не произношу ни слова, не очень огорченный своей неудачей. Но время по-прежнему едва ползет. Вдруг мелькает что-то, потом еще и еще. Мама наклоняется ко мне и спрашивает:

– Прошло?

Произносит она это слово строго и резко, будто не спрашивает, а ругает. Живот у меня пуст, но от маминого тона будто тяжелеет, вздувается, и я, обозленный за все, в том числе и за ее резкость, нарочно отвечаю с вызовом:

– Нет, не прошло!

Схватившись обеими руками за живот, я уже готов затопать ногами (другое мое крайнее средство), но попадаю ногой в пустоту, отделяющую меня от пола.

Кто-то входит в комнату. Это один из дедушкиных людей в сопровождении полицейского и другого мужчины, в холщовых зеленых штанах, с револьвером на поясе, со шляпой с широкими загнутыми полями, которую он держит в руке. Дедушка поднимается ему навстречу. Человек в зеленых штанах кашляет в темноте, что-то говорит дедушке, снова кашляет. Сквозь кашель, он приказывает полицейскому отворить окно.

Деревянные стены выглядят хрупкими, будто сделанными из остывшей спрессованной золы. Когда полицейский ударил по щеколде прикладом ружья, у меня возникло чувство, что двери не надо будет открывать – дом весь обрушится, стены рассыплются бесшумно, как развалился бы на ветру пепельный дворец. И что со второго удара мы окажемся сидящими под открытым небом с обломками на головах. Но после второго удара окно распаивается и комнату заполняет свет – врывается, точно животное в распахнутую дверь, молча носится, приносясь, бесясь, царапая стены, брызжа слюной, но потом смиряется и, забившись в самый дальний безопасный угол, затихает.

Как только открыли окно, предметы стали видны отчетливо, но лишь утвердились в своей странной нереальности. Мама делает глубокий вдох, протягивает мне руки и говорит:

– Хочешь, поглядим на наш дом из окна?

Поддерживаемый мамой, я смотрю в этот раз на селение так, будто вернулся из дальнего странствия. Вижу наш выцветший ветхий дом в тени миндальных деревьев; и мне чудится, будто я никогда не бывал в той зеленой приветливой прохладе, будто наш дом – тот, самый прекрасный, являвшийся мне в мечтах, которые вселяла в меня мама в часы моих ночных кошмаров. Мимо, не обращая на нас внимания, рассеянно насвистывая, проходит Пеле, соседский мальчишка, вдруг изменившийся до неузнаваемости, словно его только что остригли.

Тут подымается алькальд, потный, в расстегнутой рубаше, с безумным выражением лица. Он приближается ко мне, побагровев и будто заходясь в восторге от своего непреложного аргумента. «Мы не сможем удостоверить его смерть, пока не появится запах», – говорит он, застегивая рубашу, прикуривая сигарету, кивая на гроб и, должно быть, думая: «Теперь никто не посмеет сказать, что я нарушаю закон». Я смотрю ему прямо в глаза и чувствую в своем взгляде достаточно твердости, чтобы дать ему понять, что я проник в самую глубь его мыслей. Я говорю ему:

– Вы нарушаете закон, чтобы доставить удовольствие всем остальным.

А он, будто услышал именно то, что ожидал услышать, отвечает:

– Вы уважаемый человек, полковник, вы знаете, что я имею на это право.

Я говорю ему:

– Вы прекрасно знаете, что он умер.

Он отвечает:

– Верно, но, кроме всего прочего, я лишь чиновник. Единственным законным документом является свидетельство о смерти, подписанное врачом.

Я говорю ему:

– Если закон на вашей стороне, воспользуйтесь им, чтобы доставить сюда врача, который составит свидетельство о смерти.

Он, вскинув голову, но без высокомерия, спокойно, без малейшего признака слабости или замешательства говорит:

– Вы – уважаемый человек и знаете, что это было бы произволом.

Услышав это, я понимаю, что идиотизм его вызван не столько водкой, сколько малодушием.

Очевидно, что алькальд разделяет общую ненависть селения. Это чувство нагнеталось в течение десяти лет, с той бурной ночи, когда раненых притащили к его порогу и крикнули ему (потому что он не открыл, отвечал изнутри дома); ему крикнули: «Доктор, примите этих раненых, врачи не справляются»; дверь так и не открылась (раненые лежали перед ней): «Вы единственный врач, который остался, помилосердствуйте»; и он ответил (так и не отворив дверь), а толпе представлялось, что он стоял посреди комнаты, высоко подняв лампу, освещавшую его жесткие желтые глаза: «Я забыл все, что знал. Несите их куда-нибудь еще», – и остался за наглухо запертой дверью (потому что с тех пор дверь не открывалась никогда), в то время как ненависть росла, расплзалась, превращалась в повальную эпидемию, которая уже не давала передышки Макондо до конца его жизни, и в каждом ухе продолжал звучать эхом приговор, выкрикнутый в ту ночь, – приговор, обрекавший доктора сгнить в этих четырех стенах.

Целых десять лет он не пил в общественных местах воду, боясь, что ее отравят, и питался овощами, которые со своей сожительницей-индианкой выращивал во дворе. И теперь селение чувствует, что пробил час ему самому отказать в милосердии, как он отказал в нем людям десять лет назад, и теперь Макондо, зная, что он умер (сегодня все проснулись с каким-то неизъяснимым чувством облегчения), готовился вкушать столь долгожданное и заслуженное удовольствие. Людей объединяло одно страстное желание: насладиться трупным запахом, доносящимся из-за дверей, которые в тот раз так и не открылись.

И мне начинает казаться, что я со своим чувством долга бессилен против ненависти, загнан в угол и приперт к стене всеобщей беспощадной закоснелой свирепостью. Даже церковь в этот раз оказалась не на моей стороне. Падре Анхель сказал:

– Я не смогу благословить похороны в освященной земле того, который повесился, в безбожии прожив шестьдесят лет. Господь и к вам будет благосклонен, коли вы воздержитесь от поступка, являющего собой не акт милосердия, но грех строптивости и непокорности.

Я сказал ему:

– Хоронить усопших, согласно Писанию, есть дело милосердия.

На что падре Анхель отвечал:

– Это так, но в данном случае совершать его подобает не нам, а санитарной службе.

И все-таки я пришел. Взял с собой четырех гуахиرو, выросших у меня в доме. Принудил свою дочь Исабель сопровождать меня. Из-за этого поступок мой, как представляется, обрел более привычный, общепринятый, менее личностный и вызывающий характер – чем в том случае, если бы я просто взял бы и на себе поволок труп по улицам Макондо на кладбище. Всякого повидав на своем веку, я считаю Макондо способным на все. Но если они не способны на снисхождение ко мне, старику, полковнику республики, хромоту, но с чистой совестью, надеюсь, они проявят благоразумие по отношению к моей дочери – хотя бы из-за того, что она женщина. Я сделал это не для себя. И не для упокоения усопшего или выполнения некоего священного обета. Я привел сюда Исабель не из малодушия, но из милости. А она привела сына (как я понимаю, по той же причине). И вот мы вдвоем несем сие тяжкое бремя.

Входя, я думал, что труп все еще подвешен под потолком, но индейцы опередили нас, положили его на кровать и даже обрядили в саван, надеясь, что все это дело займет не более часа. Я жду, когда внесут гроб, вижу, как дочь с ребенком садятся в углу и осматривают комнату, будто надеясь увидеть что-то такое, что объяснило бы поступок доктора. Секретер открыт, беспорядочно завален бумагами, но ни одна из них не написана его рукой. На секретере лежит рецептурный справочник, тот самый, что он привез к нам домой двадцать пять лет назад, вытащив его из огромного чемодана, в котором уместилась бы одежда всей нашей семьи. В чемодане, однако, лежали лишь две простые рубашки, искусственная челюсть, которая не могла принадлежать ему по той причине, что все зубы у него были в наличии и довольно крепкие, чей-то портрет и этот рецептурный справочник. Я выдвигаю ящики и везде нахожу лишь листы бумаги с напечатанными текстами, ничего, кроме старых и пыльных бумаг, и только внизу, в самом нижнем ящике – вставную челюсть, которую он привез двадцать пять лет назад, пожелтевшую от времени и ненужности.

На столике рядом с погасшей лампой нераспечатанные пакеты с газетами разного формата. Я открываю их. Они на французском, самые свежие – трехмесячной давности, датированные июлем 1928 года. Есть и другие, тоже не открытые: за январь 1927-го, ноябрь 1926-го, и самые старые – за октябрь 1919-го. Я думаю: «Вот уже девять лет, год спустя после объявления приговора, он перестал открывать газеты. Он отказался тогда от последнего, что его связывало с его землей и его соотечественниками».

Индейцы вносят гроб и кладут в него покойника. Мне вспоминается, как двадцать пять лет назад он появился в моем доме и подал рекомендательное письмо, написанное в Панаме и адресованное мне полковником Аурелиано Буэндия, на исходе большой войны – генерал-интенданта Атлантического побережья. В темноте бездонного чемодана я нащупываю его жалкие пожитки. Чемодан не заперт, он стоит в углу, и в нем те же вещи, что он привез двадцать пять лет назад. Я их помню: «Две простые рубашки, челюсть, портрет и старый рецептурный справочник». Я собираю эти вещи, чтобы положить в гроб, пока его не закрыли. Портрет лежит на дне чемодана, почти на том же месте, где лежал в день приезда. Это дагерротип, изображающий военного с орденом. Я кладу портрет в гроб, кладу вставную челюсть и в последнюю очередь рецептурный справочник. Сделав это, подаю индейцам знак закрывать гроб. Думаю: «Теперь он снова отправляется в странствие. Самое естественное для него – взять в последний путь те же самые вещи, что были с ним в предпоследнем. По крайней мере нет ничего более естественного». И тут мне впервые за это время кажется, что покойник удовлетворен.

Я осматриваю комнату и замечаю на кровати забытый ботинок. Беру его, делаю своим людям знак, и они вновь поднимают крышку в тот момент, когда раздается гудок поезда, оглабляющего селение. «Половина третьего, – думаю я. – Два часа тридцать минут 12 сентября 1928

года; в 1903 году примерно в это же время он впервые сел за наш стол и попросил на обед травы». Аделаида спросила его: «Какой травы, доктор?» И он своим тягучим гнусавым голосом жвачного животного ответил: «Обыкновенной, сеньора. Какую едят ослы».

2

Действительность такова, что Меме нет в доме и никто не может сказать, когда она исчезла. Я видела ее в последний раз одиннадцать лет назад. Тогда она держала в доме на углу винную лавочку, которую спрос соседей исподволь превратил и в промтоварный магазинчик с разнообразным ассортиментом. Там все было в образцовом порядке, на своих местах – благодаря дотошному скрупулезному трудолюбию Меме, дни напролет обшивавшей соседей на машинке «Доместик», одной из четырех, имевшихся в селении, или стоявшей за прилавком, где обслуживала посетителей со своей индейской благожелательностью, запас которой не иссякал, одновременно открытой и сдержанной, – сложный замес простодушия и недоверчивости.

Я не виделась с ней с тех пор, как она исчезла, и, по сути, толком не знала, когда именно она поселилась с доктором на углу и как дошла до того, что стала любовницей человека, отказавшего ей в помощи, хотя оба делили кров моего отца: она – как прислуга, выросшая в доме, он – как вечный гость. Мачеха рассказывала мне, что доктор – человек недоброго нрава, и как он оправдывался перед папой, уверяя, что недуг Меме не опасен. Он заявлял это, не осмотрев больную и даже не выйдя из своей комнаты. В любом случае, даже если болезнь Меме и не была серьезной, он должен был помочь ей хотя бы из чувства благодарности за ту заботу, которой она окружала его все восемь лет, пока он жил у нас.

Не знаю, что именно там произошло, но знаю, что в одно прекрасное утро выяснилось, что Меме исчезла, и он тоже. Мачеха велела запереть его комнату и ни разу не упоминала о нем вплоть до нашего разговора с ней двенадцать лет назад, когда мы шили мое подвенечное платье.

Три-четыре недели спустя после ее ухода из дома Меме явилась в церковь к началу воскресной службы в шелестящем платье из набивного шелка и в нелепой шляпе, над которой возвышался букет искусственных цветов. Я так привыкла видеть ее у нас дома просто одетой, чаще босиком, что в то воскресенье, когда она вошла в церковь, не сразу узнала в ней нашу Меме. Она слушала заутреню, стоя впереди среди дам, манерная и чванливая под грудой своего нового барахла и сама какая-то новая – показушной дешевой новизной. Она преклоняла в первых рядах колени. И в молитвенной ее истовости, даже в манере креститься была вычурно-пошлая безвкусица, которую она, к замешательству тех, кто знал ее служанкой у нас в доме, и изумлению тех, кто видел ее впервые, внесла с собой в церковь.

Я (мне тогда было не больше тринадцати лет) недоумевала, с чем связано это превращение; почему Меме вдруг исчезла из дома и объявилась на воскресной службе в церкви, разряженная скорее не как сеньора, а как рождественские ясли, или как сразу три сеньоры, вырядившиеся к пасхальной службе, да хватило бы кружев, бисера и бижутерии еще и на четвертую. Когда служба закончилась, мужчины и женщины столпились у дверей, чтобы разглядеть ее, когда она будет выходить, они встали на паперти в два ряда напротив главного входа, и явно было что-то преднамеренно глумливое в их молчаливой торжественности, с которой они ее ожидали. Меме появилась на пороге, закрыла глаза и открыла их абсолютно синхронно с семицветным зонтиком. Она прошествовала в своем павлиньем наряде, на высоких каблуках между рядами мужчин и женщин, но один из мужчин сделал шаг вперед, и круг замкнулся, Меме, смутившись, попыталась высокомерно улыбнуться, но улыбка вышла фальшивая и под стать всему ее облику претенциозно-жалкая. Папа, потащивший меня в толпу, как только Меме появилась на пороге церкви с зонтиком, теперь мгновенно разомкнул ернический мужской круг и подошел к уже загнанно ищущей способ вырваться бывшей служанке. Он взял ее под руку, как настоящую сеньору, и, ни на кого не глядя, провел через площадь с тем надменным и вызывающим видом, который появляется у него, когда он поступает вопреки всем.

Но прошло еще время, прежде чем я узнала, что Меме стала сожительствовать с доктором. Тогда она открыла лавочку и стала уже постоянно ходить к обедне, как знатная сеньора, словно забыв о том, что случилось в первое воскресенье, и не заботясь о том, что скажут или подумают. Но два месяца спустя я ее в церкви уже не встречала.

Я вспоминала, каким был доктор, когда жил у нас в доме. Вспоминала его закрученные черные усы и вождение, с каким он смотрел голодными собачьими глазами на женщин. Я никогда не приближалась к нему – быть может, оттого, что мне он казался странным животным, сядившимся за стол после того, как все встанут, и жевавшим ту же траву, что и ослы. До папиной болезни, три года назад, доктор ни разу не выходил на улицу, с той самой ночи, когда он отказал раненому в помощи, как за шесть лет до того отказался помочь женщине, которая два дня спустя после этого стала его наложницей. Лавчонка закрылась еще до того, как селение вынесло доктору приговор. Но я знаю, что и потом Меме продолжала жить с ним, еще несколько месяцев или лет. Должно быть, она исчезла много позже; во всяком случае, гораздо позже стало известно об этом из пасквиля, появившегося на его двери. В нем сообщалось, что доктор лишил жизни свою любовницу из страха, что с ее помощью его отравят, и закопал у себя во дворе. А увиделась я с Меме накануне моего замужества, одиннадцать лет назад. Я возвращалась под вечер из церкви, и индианка, выйдя на порог лавки, веселым, чуть ироничным тоном сказала:

– Что же ты, Чабела, замуж выходишь, а мне ни слова!

– Да, – говорю я, – он сделал это так.

Растянув веревку, один конец которой распушился срезами волокон, я вновь завязываю узел, отсеченный индейцами ножом, чтобы снять тело, перекидываю веревку через потолочную балку и закрепляю. Ее прочности хватит еще на много смертей, подобных этой. Обмахивая шляпой набрякшее от духоты и водки лицо, как бы оценивая надежность веревки, алькальд говорит:

– Невероятно, что такая тонкая веревка выдержала его вес.

Я ему отвечаю:

– Эта веревка многие годы выдерживала его вес в гамаке.

Он забирается на стул, протягивает мне шляпу и, ухватившись за веревку, с налившимся от натуги кровью лицом повисает на ней. Затем, встав на стул и глядя на болтающийся конец, говорит:

– Невероятно. Веревка слишком коротка, мою шею она не обхватила бы.

Я понимаю, что он намеренно прикидывается бестолковым, чтобы не допустить похорон.

Я пристально гляжу на него в упор и спрашиваю:

– А вы не обратили внимания на то, что он по меньшей мере на голову выше вас?

Он оборачивается к гробу и говорит:

– Все равно я не уверен, что он воспользовался этой веревкой.

Я-то не сомневаюсь, что все так и было, и он это знает, но тянет время, боясь какой бы то ни было ответственности. В его бессмысленно-суетливых телодвижениях сквозит малодушие. Трусость, двойственная и противоречивая – он не смеет ни разрешить церемонию, ни запретить ее. Остановившись перед гробом, он поворачивается на каблуках, смотрит на меня и говорит:

– Чтобы не оставалось сомнений, мне нужно увидеть, как он висел.

Я бы пошел и на это. Я приказал бы своим людям открыть гроб, вытащить оттуда повесившегося и заново его повесить. Но это было бы слишком для моей дочери и для ребенка, которого, конечно, не следовало брать с собой. Да, как бы ни претило мне таким образом обращаться с трупом, измываться над беззащитной безжизненной плотью, над человеком, наконец-то упокоившимся в своей брэнной оболочке, как ни противно было моим принципам

вытаскивать из гроба мертвеца, я бы приказал индейцам повесить его заново, лишь бы узнать, как далеко способен зайти этот сеньор. Но нет, невозможно. И я ему говорю:

– Будьте уверены, такого распоряжения я не отдам. Если желаете, вешайте его сами и отвечайте за последствия. И имейте в виду, что мы точно не знаем, давно ли он умер.

Он не шевельнулся. Все еще стоя возле гроба, он смотрит на меня, на Исабель, на ребенка и снова на гроб. Лицо его вдруг обретает угрюмое и угрожающее выражение. Он говорит:

– Надеюсь, вы отдадите себе отчет в том, какие могут быть последствия этого для вас лично?

Прикинув, насколько серьезна его угроза, я отвечаю:

– Разумеется. Я всегда отвечаю за свои поступки.

Скрестив руки, обильно покрываясь испариной, он с заученно-угрожающим видом, который, по сути, комичен, подступает ко мне и говорит:

– А позвольте полюбопытствовать: как вы узнали, что этот человек повесился ночью?

Я неподвижно стою и жду, глядя на него, пока он не приблизился и в лицо мне не ударило его тяжелое горячее дыхание. Остановившись, он скрестил руки, зажав шляпу под мышкой. Я говорю:

– Когда вы зададите мне этот вопрос официально, я с величайшим удовольствием на него отвечу.

Он стоит прямо передо мной, не меняя позы. Мой ответ не был для него неожиданностью и нисколько не смутил. Он говорит:

– Естественно, полковник, я задаю вам вопрос вполне официально.

Я намерен дать ему вполне исчерпывающий ответ и не сомневаюсь, что, как бы он ни юлил, перед железной логикой, подкрепленной спокойствием и терпением, он спасует. Я говорю:

– Мои люди вынули его из петли, поскольку вызвал вас два часа назад и не мог больше ждать, пока вы соизволите пройти два квартала.

Он стоит неподвижно. Я стою напротив него, опершись на трость, наклонившись вперед. И продолжаю:

– А во-вторых, он мой друг.

Не успеваю я окончить фразу, как он саркастически усмехается, не меняя позы, дыша мне в лицо густо-кислым перегаром. Он говорит:

– Нет ничего проще, да? – Усмешка внезапно исчезает с его лица. – Так, выходит, вы знали, что этот человек намерен повеситься?

Спокойно, терпеливо, с пониманием того, что он хочет лишь запутать дело, я говорю ему:

– Повторяю, первым делом, узнав о том, что он повесился, я послал за вами. Вы пришли через два часа.

Он отвечает, точно я не заявил, а задал вопрос:

– У меня был обед.

Я говорю:

– Конечно, а как же. Но сдается мне, что вам хватило времени и на сиесту.

Он не находит, что ответить. Отступает в глубь комнаты. Смотрит на Исабель, сидящую подле ребенка. Смотрит на индейцев и на меня. Выражение лица его меняется. Видимо, он решается на то, на что долго не мог решиться. Он поворачивается ко мне спиной, подходит к полицейскому и что-то ему говорит. Тот отдает честь и выходит из комнаты.

Он возвращается ко мне и берет меня под руку. Говорит:

– Полковник, мне хотелось бы поговорить с вами в другой комнате.

Его голос изменился. Стал напряженным и сконфуженным. И, переходя в соседнюю комнату, чувствуя, как он слегка сжимает пальцами мой локоть, я догадываюсь, о чем он собирается говорить.

Эта комната в отличие от той, где лежит покойник, просторна и прохладна. Она залита светом из патио. Тут я замечаю его бегающий взгляд и странную улыбку, не соответствующую выражению лица. И слышу его голос: «Полковник, это дело мы могли уладить иначе». Но, не дав ему договорить, я резко спрашиваю:

– Сколько?

И он вдруг становится совершенно другим человеком.

Меме принесла тарелку со сладостями и двумя солеными булочками, которые научила ее печь моя мать. Часы пробили девять. Мы сидели в комнатухе позади прилавка друг против друга, она неохотно жевала – сладости и булочки нужны были лишь затем, чтобы мое случайное посещение лавки выглядело как визит. Понимая это, я не мешала ей блуждать в лабиринтах своей души, углубляться в закоулки прошлого с ностальгически-томной грустью, от которой в свете стоявшей на прилавке лампы она выглядела увядшей, гораздо старше, чем в тот день, когда заявила в церковь в шляпе и туфлях на высоких каблуках. Было очевидно, что в этот вечер ее снедает желание вспоминать. И, слушая ее, я не могла отделаться от мысли, что последние годы она пребывала в некоем застывшем, вневременном возрасте, а теперь, отпустив вожжи воспоминаний, как бы вновь привела в движение свое время, равно как и неизбежно сопутствующий этому процесс старения.

Сидя прямо, с сумрачно-торжественным выражением лица, Меме рассказывала о пышном феодальном великолепии нашей семьи в последние годы прошлого века накануне большой войны. Меме вспоминала мою мать. Она вспоминала ее тем вечером, когда я возвращалась из церкви и она сказала мне веселым, ироничным тоном: «Что же ты, Чабела, замуж выходишь, а мне ни слова!» Как раз в те дни я беспрестанно вспоминала о матери.

– Ты ее живой портрет, – сказала Меме, и я на самом деле ей поверила.

Я сидела напротив индианки и слушала рассказ, в котором точные детали перемежались с туманной неопределенностью, будто то, о чем она вспоминала, было в большей степени легендой, чем действительностью, но рассказывала она настолько искренне, веря в каждое свое слово, что легенды превращались во всамделишное, далекое, но незабываемое. Она рассказывала о скитаниях моих родителей во время войны, о тяжком путешествии, в конце концов приведшем их в Макондо. Родители бежали от ужасов войны, надеясь отыскать спокойный цветущий край; они слыхали о золотом руне и в его поисках набрали на недавно основанное несколькими такими же семьями беженцев селение, жители которого в равной степени пеклись и о сохранении своих традиций, религиозных обычаев, и об откорме своих свиней. Макондо стало для моих родителей землей обетованной, миром и тем самым золотым руном. Здесь они нашли подходящий участок и начали строить дом, который несколько лет спустя стал усадьбой с тремя конюшнями и двумя гостевыми комнатами. Меме рассказывала о давних безумных чудачествах, рассказывала откровенно, в деталях, явно обуреваемая желанием пережить все заново и со скорбным сознанием невозможности этого. Она уверяла, что в пути никто не испытывал страданий и лишений. Даже лошади спали под москитной сеткой, и не потому, что отец был расточительным сумасбродом, а потому, что мать имела свои представления о милосердии и считала, что Богу угодна защита от москитов не только человека, но всякой Божией твари, пусть и бессловесной. Всюду они возили с собой обременительный и весьма экстравагантный груз: сундуки с одеждой людей, умерших еще до их рождения, предков, которых не сыскать и на глубине двадцати локтей под землей, ящики с кухонной утварью, которой не пользовались с незапамятных времен, когда-то принадлежавшей их предкам (двоюродным брату и сестре), и с образами святых для домашнего алтаря, соорудившегося на каждой продолжительной стоянке, куда бы их ни заносило. Это был настоящий бродячий цирк-шапито с лошадьми, курами и четырьмя индейцами-гуахи́ро (приятелями Меме), которые выросли в доме родителей и всюду ездили с ними, как звери с дрессировщиками.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.